



Станислав РАССАДИН,  
обозреватель «Новой»:

**«Надоедливо идет  
не борьба  
за Есенина, а возня  
вокруг него»**

Так естественно, так объяснимо, что последние есенинские строки: «До свиданья, друг мой, до свиданья...» — должны были запеться, лечь на голос — томного Вергинского или «ресторанного» парижского цыгана Алеши Дмитриевича; им не вышло урона ни от отчаянной отсезаины, ни от неприменной романсовой надрынности, ни даже — или тем более? — от кабацкой разухабистости: «До свиданья, эх, догорели свечи... Но и жить, по-янно, не нове-е-ей...».

Куда удивительнее, что беспризорные в поездах немедля запели и текст предсмертной записки Маяковского — с ее «всем, всем, всем!», с деловитой озабоченностью, дабы фининспектор взыскал невыплаченный налог (чисто-та перед государством), с полемической шпилькой в бок суперничтожному литподонку Ермилову.

Правда, как запели! «Товарищ правительство, пожалуйста мою маму / И белую лилию — сестру. / В столе лежат две тыщи, / Пусть фининспектор взыщет, / А я себе спокойненько помру». И мало того, что эмансипированная Л.Ю. Брик в согласии с простодушной фольклорной эстетикой преобразилась в символ чистоты — лилию (белую!), — но само обращение государственного человека, таковым себя и сознающего, к «товарищу правительству» с заслуженной просьбой обеспечить материально и Лилию, и маму с сестрами, заменилось *мольбой*. Такой понятной для людей из народа в их привычных отношениях с привычно жестокой властью: «Пожалей!».

Между прочим, точно так же в дивной песне Юза Алешковского «Есенин Сережа», привстав напоследок из гроба, поминает вечного своего соперника: «Вот себя мне нисколько не жалко, / А Владимира Владимыча жалко!».

Так или иначе оба антипода-самоубийцы, уходя в стихию фольклора, в народ, оказываются в позиции страдательной. «Владим Владимыч» — вопреки своему самосознанию, а «Сережа»... Он из этой стихии и не уходил.

Речь не о том, чтобы одного унизить за счет другого. Просто невозможно представить, чтобы вторая смерть Маяковского (так Пастернак определил пресловутую сталинскую формулу, поистине убийственно для поэта нормативно назначившую «лучшему, талантливейшему» его место в границах эпохи — «нашей советской») настигла Есенина (как и того же Пас-

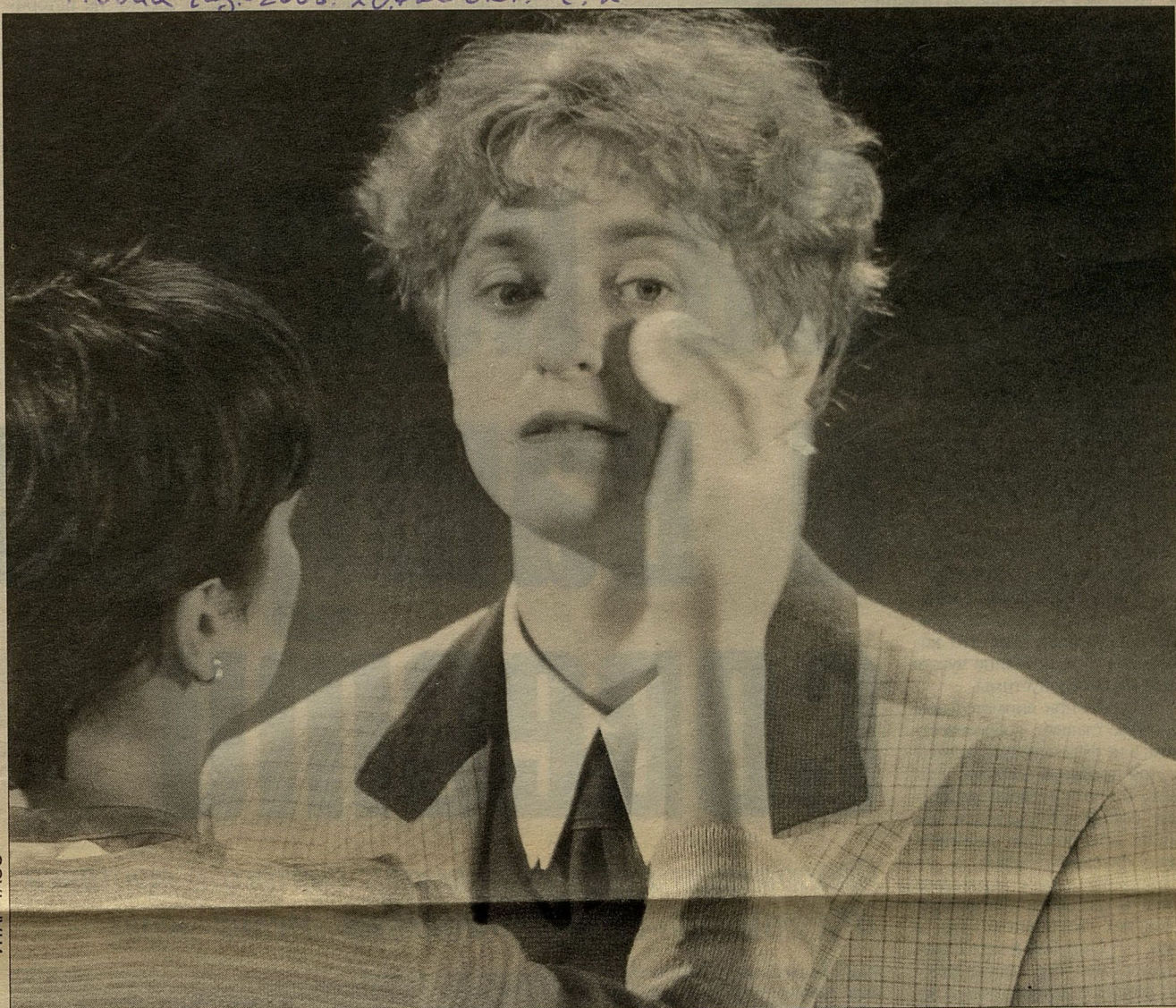
тернака, Мандельштама, Ахматову). С ним эта вульгарная операция не удалась бы.

Удастся ли нынче? Имею в виду — когда надоедливо идет не борьба за Есенина, а возня вокруг него. Когда его, спохватясь, посмертно приватизируют и ангажируют, словно мобилизуя в ряды «патриотов» (в кавычках, естественно), противопоставляя «инородцам» и «русофобам» вроде тех же Мандельштама и Пастернака. Когда на ТВ и в печати навязывается дикая версия об убийстве... А кто убил? Евреи? Гэбисты? Евреи-гэбисты? Такой вот широкий выбор... Потому, уже отчасти насыщенный на сей счет, с ужасом жду телеподарка — семейного детища Безруковых.

Ей-богу, кто-кто, а Есенин этой второй — и на этот раз уж точно насильственной — смерти не заслужил.

Эта версия, полагаю, прежде всего оскорбительна

ИТАР-ТАСС



Актер Безруков сыграет Есенина в телефильме. Некоторые используют имя поэта в своих играх

# Попытка убийства Есенина

**Ее предприняли сразу многие накануне юбилея поэта и после**

для самого Есенина, для его уникальной, нежной, хрупкой природы. Для его феномена. Эка, подумать, невидаль в условиях «нашей советской» оказаться в бесконечном ряду тех, кто злокозненно умерщвлен внешней силой, будь то реальный карательный орган или мифический заговор. (В том ряду, куда мы по отвратительнейшей традиции тащим и Пушкина, коего будто бы сговорились пришить два кореша, Николай с Бенкендорфом, и Лермонтова, мол, не случайно убитого человеком с отчеством Соломонович.) В то время как Есенин — читай его «тексты!» — неуклонно шел к самоуничтожению.

Стоп. Шел-то шел, но чтобы неуклонно? Это уж, пожалуй, моя личная дань общей прямолинейности. Неуклон-

ности не было, коли в стихах, где он по-ребячьи завидует пушкинской бронзе, строка, угадывшая неотвратимость судьбы: «Но, обреченный на гоненье...» — вдруг с такой прелестной нелогичностью продолжится: «...Еще я долго буду петь...». Долго! И все-таки человек, заявивший о сокровенном и невозможном: «Розу

белую с черною жабой / Я хотел на земле повенчать», — самым этим странным мичуринством был обречен. Был настолько несовместим с советской реальностью, год от году матеревшей в своей советскости, что... Да о чем толковать! Возможно ль представить Есенина взошедшим в седовласый маститый воз-

**Попытки завлечь Есенина  
в соучастники пакостных или  
хотя бы своекорыстных игр,  
присвоение его кем бы то ни  
было в каких бы то ни было  
целях должно бы караться  
как хищение общенародного  
достояния**

раст? Невозможно — как Блока. Да и Маяковского трудно вообразить пережившим сталинские тридцатые годы, но тут опять разница. Маяковский, конечно, не перевалил бы через эпоху 37-го, но он и убит бы был как государственный человек, в ранге Тухачевского или Михаила Кольцова. А Есенин...

Он не мог далее жить именно потому, что был слишком приспособлен для жизни. Парадоксально? Ничуть. Игравший в поэзии и в быту в пастушка, в кудрявича-королевича, в инока и пророка, в шпану и фата, а то и в ленинского почитателя, он был бесхитростен и естествен, как явление природы (ее «органом» назвал его Горький), как ливень или метель. Слабый, пьющий, боявшийся милиции и суда, жестокий с женщинами, равнодушный к собственным детям, он был неуступчивым воплощением радости жить «просто так» в годы, когда уже были регламентированы все поводы для радостей. «Счастлив тем, что целовал я женщин, / Мял цветы, валялся на траве...» — и ежели в этом наипростейшем, наидоступнейшем перечне возникает гордость, то это гордость неучастия. В

будничных пакостях: «...И зверье, как братьев наших меньших, / Никогда не бил по голове», а пуше того — в государственных злодействах: «...Не расстреливал несчастных по темницам».

И эти радости, и эта гордость неучастия — такие, повторю, общепонятные и общедоступные, такие незлитарные, что их можно назвать радостями и гордостью «среднего человека», «прочих граждан», как определял своих персонажей Михаил Зощенко. Да почему бы и не назвать? Почему бы не свести вместе обоих, «крестьянского» поэта и «городского» прозаика (который ведь не в шутку охарактеризовал себя в терминологии тех лет «пролетарским писателем», а вне терминологии мог бы — и народным)?

Неучастие и есть неуступчивость, для обоих писателей кончившаяся трагически, хоть и по-разному, в разные времена. Для поэта, как водится, много раньше. И попытки завлечь Есенина в соучастники пакостных игр, присвоение его кем бы то ни было в каких бы то ни было целях должно бы караться как хищение общенародного достояния.